

18+

Лена Элтанг

Каменные клёны

р о м а н



Лена Элтанг

Каменные клены

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176344
Каменные клёны: Альпина нон-фикшн; Москва; 2024
ISBN 9785002231478

Аннотация

Авторскую серию Лены Элтанг продолжает новое издание романа «Каменные клены».

У героини Саши Сонли есть небольшая гостиница в Уэльсе, а еще – русские корни по материнской линии. Саша собирает травы, изучает фольклор и магию, а еще ведет дневник, в котором разговаривает с умершей матерью. Жители деревни почему-то считают ее убийцей собственной сестры.

...когда любишь кого-то, то знаешь о нем странное, и чувствуешь дикое, и видишь весь его дремотный ил, и зеленую донную мглу, и слепящую в нем небесную силу. Но ты не боишься, все странное представляется тебе объяснимым, а дикое – почти что ручным, и если тебя спрашивают: как ты это терпишь, или просто – каково это? ты даже не сразу понимаешь, о чем речь.

Как и другие романы Элтанг, «Каменные клены» притворяются детективом, но на самом деле представляют собой сплав философской и психологической прозы.

Я всегда завидовала ее умелому равнодушию: соседки восхищались ее цветниками и шептались за спиной о болезни, но она даже не помнила их имен, она была похожа на лезвие, закаленное до абсолютного холода, непроницаемое и блестящее. Нетерпение и мучительная скука кипели в ней, будто кислота в реторте, но об этом знали только мы с ней...

Содержание

Часть первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Лена Элтанг

Каменные клёны

Издательство благодарит Vanke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав

Издатель *П. Подкосов*

Главный редактор *Т. Соловьёва*

Руководитель проекта *М. Ведюшкина*

Художественное оформление и макет *Ю. Буга*

Корректоры *Т. Мёдингер, Ю. Сысоева*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование элек-

тронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Л. Элтанг, 2008

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

*** * ***

Лена Элтанг

Каменные клёны

р о м а н

Третье издание

Москва, 2024

альпина
ПРОЗА

...много-много-много лет тому назад, когда еще по Уэльсу бродили волки и птицы, красные, как фланелевое исподнее, трепетали над лирным изгибом холмов, когда мы пели и нежились день-деньской напролет в пещерах, пахнущих влажным воскресным вечером в деревенской зале, и отваживали англичан и медведей челюстью дьякона, еще до автомобиля, до велосипеда, до кобылы с лицом оскорбленной принцессы, когда нас несли на хребтах неседланные, веселые горки, – все шел и шел снег¹.

ДИЛАН ТОМАС

Вере и Григорию

¹ Перевод Елены Суриц.

Часть первая

Ведьмы немы

Саша Сонли

Проигравшие теряют имя. Как и те, кого внезапно разлюбили. Мертвые собаки теряют имя, породу и приметы пола, они похожи, будто обломки кораблекрушения. Рассказывая о них после их смерти, вы говорите просто: моя собака любила то, моя собака делала так. Если я найду того, кто скормил моим собакам отраву, ему придется глотать стекло, я до сих пор держу в столе пузырек, который нашла на поляне.

В тот субботний вечер, когда, пройдя через вествудский лес босиком, держа туфли в руках, я вернулась домой, мне показалось, что в саду кто-то стоит, высоко подняв над головой фонарь. Приглядевшись, я поняла, что это садовая лампа, висевшая на решетке перголы, остальные были разбиты, все до одной. Я закрыла калитку, примотала проволоку и пошла по тропинке к дому, под ногами похрустывали стеклянные осколки. Дойдя до освещенного участка сада, я остановилась, заметив два темных пятна в траве, достала из сумки очки и протерла их рукавом.

Мои собаки лежали посреди заросшей мятликом поля-

ны с закрытыми глазами, будто сраженные внезапным сном. У Хугина передняя лапа была вытянута вперед, как если бы он во сне пытался ползти, а Мунин подогнул все лапы под себя, как будто бы сильно замерз. Они были не похожи на лабраторов, просто два пустых рукава, оторванные от собачьей дохи и забытые в траве.

Некоторое время я стояла молча, слушая, как поскрипывает проволочный крючок садовой лампы. Ветер покачивал ее едва заметно, и свет выхватывал то спину старшего брата – цвета перца, то спину младшего – цвета горчицы. Разница между ними была в одну минуту, но они всегда знали, кто из них старший.

Потом я зашла в дом – дверь была заперта, замок не пытались взломать, – взяла в кухне железные собачьи расчески и положила обоих псов на садовый стол, сначала Хугина, потом Мунина. Пасти у обоих были открыты, виднелись кончики языков. Холодные черные носы казались сделанными из оникса, будто два набалдашника для японской трости. Я сняла свою шаль, вытерла мокрую шерсть и вычесала ее как следует, сначала гребнем, потом щеткой, до живого серебряного блеска.

Хугин и Мунин не боялись ничего, на чем шерсть растет, точь-в-точь как шестеро храбрых терьеров, описанных Вальтером Скоттом. Моих собак можно было взять только хитростью. Или это сделал кто-то из своих.

Проходя мимо теплицы, я увидела, что могилу сестры

вскопали старательно и пышно, будто грядку с георгинами. Ее содержимое было раскидано по поляне вместе с пластами дерна, тряпками и роликовыми коньками. Каменный жернов, служивший надгробием, торчал из земли, будто отвалившееся от повозки колесо. Выглядело это противно и стыдно, как и полагается потревоженному кенотафу – такой, наверное, была могила Генриха Пятого, после того как в ней поискали царскую голову.

Я взяла лопату в папином сарае, вырыла яму под самшитовым кустом и положила своих собак туда, в темноту и сырость. Копать пришлось долго, я сбила пальцы до крови, но яма все равно получилась мелковатой. Потом я дошла до ворот и проверила замок – заперто. Обведя фонариком каменную стену, я заметила, что в траве что-то поблескивает, и подняла стеклянный пузырек без этикетки. Очевидно, здесь были свои – у чужих мои псы не берут угощения.

Я вернулась к могиле сестры, вытащила из земли базальтовый жернов и осторожно покатила его по дорожке, чувствуя, как горят ободранные в лесу ступни. Через лес я шла по проторенной тропе, но шишки и острые сучья там все же попадались. Мою сестру звали Эдна, хотя она предпочитала имя Александрина, сама его придумала. Ее уход был естественным и полезным, такой же, как розмарин на ее могиле, который я иногда срываю, когда запекаю картофель с оливковым маслом.

Закончив, я бросила лопату и села на скамью возле тепли-

цы. Что мне посеять здесь: может, белый вереск, спасающий от чумы? Что написать на базальтовом колесе? *«Где вторая из этой земли наименее радостнейшая? Та, где больше всего останков закопано мертвых людей и мертвых собак».*

Так и напишу, у меня две банки краски осталось в сарае. И вереска сажать не стану, самое надежное средство от чумы – бежать от нее подальше. А лучшее средство от ненависти – это закопать ее поглубже. В земле сухая вражда пропитается многолетней прелью, размякнет, разъяснит себя, перестанет быть жестким проволочным комком, в котором нет ни конца, ни начала.

Плакучий бук, самшит, каменные плиты – поляна за теплицей становится все больше похожа на кладбище. Теперь здесь две могилы, одна старая, другая – новая, чернеющая свежей землей. Но я все приведу в порядок, ночь еще молодая.

Мама, должно быть, расстроится, когда увидит эту надпись.

Когда мама расстраивалась, она переставала разговаривать – просто молчала, и все, будто рот у нее запекся сургучом. Она писала нам с папой записки на клочках бумаги, а служанке Дейдре не писала ничего, та сама знала, что делать. Мама была уверена, что нужно замолчать, когда действительность поворачивается к тебе спиной.

Вот и я замолчу. Скажу только вслух: прощай, моя призрачная свора, мои божественные сплетники, мои старые со-

баки, мои обманутые сторожа, вы были последними, кто видел моего отца живым. Все, теперь молчу.

* * *

Газет я больше не читаю. Ни газет, ни блогов, ни грязноватых завиральных простынь, хлопающих на электрическом ветру. Я читаю только книги и вишгардские рекламные буклеты, очень внимательно – потому что распродажи в местных лавках позволяют мне держаться на плаву. Каждое утро вынь да положь – молоко, джем, хлопья, бекон и тушеная фасоль. Постояльцы требуют английский завтрак, оставляют свет в комнате, уходя на прогулку, не до конца заворачивают кран, не выключают обогреватель, увозят на память наши пушистые полотенца с монограммой КК. Но это все мелочи, хуже всего – когда постояльцев нет.

Что касается событий в мире, то они все больше напоминают мне насмешливую скороговорку министров во втором акте оперы «Турандот»: *Уж много лет живем в плену у страха... В год Мыши шестерых казнили, а в год Собаки сразу восемь... До чего мы докатились! В палачей мы превратились!*

В те времена, когда учитель Монмут приглашал меня в оперу, мы слушали ее в Ковент-Гардене, показавшемся мне похожим на пряничный домик, – учитель потом сказал, что во время войны там был танцзал, а еще раньше склад.

После спектакля мы долго шли вдоль реки и я громко возмущалась, заставляя прохожих оборачиваться: стоило гордиться все эти леденящие душу диссонансы и звенеть китайскими колокольчиками, чтобы в финале так оглушительно соврать! Совершенно ясно, что Пуччини задумывал другой финал: принцесса должна казнить Калафа, наплевав на закон, переступив через свои обещания, презирая возможные волнения в народе. Потому что именно так работает механизм деспотии!

Монмут посмеивался, поддакивал, а когда мы дошли до Святого Магнуса и свернули налево, к нашему отелю, он вдруг остановился и серьезно сказал: в этом и заключается настоящий страх смерти. Твой замысел терзает тебя годами, ты ищешь свой финал, достойный властной, живописной завязки, выкуриваешь тонны табака и выпиваешь бочки виски, но смерть забирает тебя, и финал дописывает профан, недоучка, желающий угодить публике голливудской концовкой.

Дэффидд Монмут больше не приглашает меня в оперу, мы с ним никогда не поженимся, это мой первый жених, после него был второй, а теперь есть третий. Мне тридцать лет, я ни разу никого не любила, *as innocent as a babe unborn*, как сказала бы наша служанка, – но нет, невинной я бы себя не назвала. Невинность существа есть полная приспособленность к миру, если верить Камю, – невинен тот, кто ничего не стремится доказать.

По утрам я готовлю кофе в тесной кухне, завешанной по стенам аккуратными связками мяты, чабреца и зверобоя, травы такие сухие, что стоит к ним прикоснуться, и они превращаются в пыль, так что от диких зверей и разбойников – как написано в мамином травнике – они уже не защитят. Из пекарни привозят сладкий дрожжевой хлеб, здесь его называют бармбрек, хотя это не точно – в настоящем бармбреке должны быть щепки, горох или монетки, они предсказывают судьбу. Если постояльцев нет – а так теперь часто бывает, – я завтракаю одна, из кухонного окна виден морской берег, все остальные окна выходят на холмы или на англиканскую церковь цвета темной охры.

Потом я занимаюсь садом, там всегда много работы: мамина теплица, гортензии, растущие вдоль аллеи, пергола, которую нужно обрезать и подвязывать, а за перголой – могила моей сводной младшей сестры. Зимой я выхожу в сад в резиновых сапогах, потому что снег сразу превращается в воду, весной и осенью – тоже, потому что дерн никогда толком не просыхает, туфли в нашей деревне не нужны, у меня их всего-то одна пара, купила зачем-то на папины похороны. Хотя на кладбище не поехала, осталась дома и вымыла все полы в гостинице, босиком.

Я видела так много смерти, но ни разу не плакала – глаза горят, будто в них известь попала, а горло пересыхает, вот и все. Плакать – это особое искусство, сказала Гвенивер, хозяйка чайной, когда гадала мне в первый раз. Не все умеют

плакать, многие просто роняют слезы.

Всякому понятно, что смерть – это не бой, а сдача оружия, *acta est fabula*, пьеса сыграна – в античном театре так оповещали о конце спектакля. Поэтому я обращаюсь к ней на *вы*, так разговаривают с превосходящим противником. Вежливо, но без уничижения, *dolce ma non pederasta!* как говорил один болонский дирижер на репетиции «Травиаты». А может – и не было такого дирижера вовсе. Не успеешь кого-нибудь вспомнить, как выясняется, что его не было.

* * *

Зачем мне вся правда? Я и с половиной не знаю, что делать.

Правильно говорила наша ирландская служанка в те времена, когда в доме еще натирали воском деревянную мебель и выбивали ковры: прямо душно среди этих прямодушных людей! Теперь нет ни служанки – после смерти отца она вышла замуж, ни ковров – я свернула их в рулоны и вынесла в сарай, потому что на чистку нет ни сил, ни времени. Тем более что пол в «Кленах» теплый, пробковый, отец его сам настелил. Дом должен себя согревать, говорил он, особенно в наших краях, где сырость приходит прямо из земли, а море норовит свалиться тебе на голову.

Пора вам узнать всю правду, сказала соседка Прю, когда мы встретились у ворот, чтобы обсудить доставку молоч-

ных бутылок, *иногда правда диковиннее вымысла*. Вот кто у нас любит ирландские поговорки, но я тоже не лыком шита, для ответа у меня целый ворох Дейдриных сентенций, с детства заученных. Три вещи сложнее всего понять, сказала я гордо, разум женщины, работу пчел и игру прибоя! Прю покачала головой и отправилась по своим делам, это, пожалуй, единственная женщина в деревне, которая мной интересуется – может, потому, что ее кузина подрабатывает в пансионе, а может, потому, что наши владения симметричны, разделены быстрым, прямым ручьем и на карте выглядят как стрелкоза с зеленым брюшком.

Мой отель для местных жителей – странное место, не менее странное, чем вересковый холм, люди проводят там ночь, а когда выходят – никто не помнит их имен, а все их родственники давно умерли. Моего имени тоже никто не помнит, для деревни – которую у нас принято называть городом – я просто *русская* из пансиона на берегу, в лучшем случае – дочка покойного плотника, и это понятно: я проиграла, а проигравшие теряют имя. Как и те, кого внезапно разлюбили.

В маминой книге я прочла, что умершие египтяне не покорялись решению богов, но пытались торговаться с ними и всячески уговаривали определить им лучшую участь. В этом есть непривычная для христианства уверенность в себе и прелестная дотошность – я решила, что буду делать то же самое, только еще при жизни. Поэтому я никогда

не продам пансион. И никуда не уеду.

Луэллин

мир ловил меня, ловил, поймал да и бросил!

я сказал это доктору майеру, когда пришел к нему в первый раз – не по своей воле, конечно, моя бы воля, ноги бы моей не было в этой полутемной комнате с короткой кушеткой, на которой приходится лежать в позе зародыша

доктор майер похож на баварского крестьянина, так и вижу его в кожаных штанах и шляпе с тетеревиным пером, доктор не смеется, не улыбается, считает религию компенсаторным механизмом и никогда не поднимает жалюзи

я ходил к нему всю зиму, осталось еще восемь прописанных встреч, хотя говорить уже не о чем: я знаю, что майер мне не поможет, для него я алкоголик, случайно, по пьяному делу, погубивший человека, чудом избежавший тюрьмы и терзаемый муками совести, настоящими, вплоть до галлюцинаций

а для себя я кто? учитель без учеников – вон из профессии! латинист, забывший все слова, кроме глаголов глотания, глаголов питья и глаголов разрушения, способный только *plurimum absum* и все вокруг себя *interficio*, кто еще? водитель без дороги – да, такова моя новая работа! любовник без либидо – сам не знаю, как у меня встает, взлетаем на чистом керосине, садимся со стимпанковым лязгом и грохо-

том, кто еще? человек, не способный похоронить своего отца, одним словом, *homo monstruosus*

но доктору майеру такого рода соображения представляются пораженчеством, его задача – вернуть меня в общество, воздвигнув нравственный закон и ободрив колючую проволоку, стоило мне сказать, что я переспал с соседкой, как он заурчал и завозился за своей ширмой, уж это он точно считает своим достижением! а услышав, что я ходил со своим начальником в тир, он даже похлопал ладонью о ладонь

уайтхарт и впрямь пригласил меня в тир – он у нас на первом этаже, принадлежит китайцу, разложившему в витрине убедительные муляжи пистолетов, раньше там была пекарня и в витрине лежали румяные резиновые булки – каждый раз, приходя на работу, я смотрю на беретту М9А3 с неизбывным желанием ее украсть

китаец говорит, что эту модель не приняли на вооружение американской армии, это, мол, неудачник, проигравший все конкурсы, пасынок судьбы, зато у него есть резьба для глушителя, думаю, мы бы стали друзьями, не будь беретта резиновым пугачом, несъедобной булкой, золотистой подделкой, хотя – господи боже мой, кто здесь говорит о неподдельности?

* * *

я всегда думал, что самое острое плотское переживание,

на которое я способен, – это неизвестно чей поцелуй в макушку, такое со мной случилось однажды в школе, когда я заснул в кабинете зоологии, меня там оставили на полтора часа после уроков за дурацкие вопросы про пчел – я спросил мисс финли, почему в улей с пчелами никогда не бьет гром, она сказала, что это суеверие, и стала рассказывать про какой-то нуклеус

я сказал, что недаром ведь дева мария сравнивала себя с ульем, а сына божьего с пчелой, на что мисс финли заметила, что подобные рассуждения уместны в беседе со святым отцом, а мы говорим о натуральной жизни природы, тогда я сказал, что пчела разбудила хеттского бога телепинуса, спящего на поляне, но мисс финли ничего про это не знала и разозлилась, прямо как телепинус, ужаленный пчелой в окрестностях города лихцина

когда все ушли, я сел за учительский стол, завел учительские часы и стал ждать конца наказания, положив голову на столешницу, нагретую яростью мисс финли, сначала я смотрел на чучело утконоса, потом на коллекцию жуков под стеклом, потом я думал, каково это – быть клювоголовым или, скажем, чешуйчатым, а потом я проснулся от того, что меня поцеловали прямо в голову

я открыл глаза, когда дверь класса хлопнула и кто-то быстро прошел по коридору, неизвестно чей поцелуй горел на моем темени, прямо на коже, хотя губы того, кто сделал это, прикоснулись только к кончикам волос – так в японских по-

слевоенных фильмах изображали поцелуй через кисейный платок

несмотря на платок, я чувствовал, как лиловое вибрирующее пятно расплзается вниз к вискам и шее, наливается смородиновой мякотью, мое тело распрямилось и наполнилось, будто перчаточная кукла, в которую вставили руку, я не знал, что с этим делать, и на всякий случай встал и подошел к окну

подумаешь, поцелуй, думал я, глядя во двор, где свободные одноклассники гоняли мяч, да люди целуют все, что под руку попадет: молитвенник, чужого ребенка, пистолет, землю отечества, фишку в казино, даже покойника целуют, хотя это ни в какие ворота не лезет, я думал старательно, почти что вслух, но след от поцелуя глухо саднил, будто ушибленное место, не знаю, чем бы это кончилось, но тут запищали часы на столе у мисс финли

если сумеете осознать свою вину, стоунбери, сказала она, то в пять можете идти домой! мой любимый поэт тоже любил слово *если* – если бы двери восприятия почистили, мир показался бы человеку бесконечным, сказал он однажды, и, будто жертвенный стол, окутался пчелиным роем

* * *

долго не мог понять, почему от некоторых людей у меня оскомина, ведь они же совсем не кислые, многие даже слад-

кие на зависть или безвкусные, будто бамбуковый побег, а теперь вот дошло: они напоминают мне дикие сливы с дерева возле церковной ограды – мы с друзьями срывали их зелеными, во время июльских баталий, весь двор был усыпан растоптанными вдрызг мирабельными шариками

ребристая косточка в сливе созреть не успевала, на ее месте был мягкий белый пузырек, почти прозрачный, и в нем было что-то пугающее, ненастоящее, страшнее, чем просто косточка недозрелой сливы, – так вот, когда я разговариваю со своим шефом уайтхартом, белый пузырек недосказанности катается у меня за щекой, будто серебряная драхма у грека

нет, это никуда не годится, лу, сказал он сегодня, когда я позвонил в лондонскую контору, мы и так уже отменили два твоих занятия! так все ученики разбегутся, давай, приходи в себя, возвращайся из своего бэксфорда и завязывай!

я там еще не был, сказал я, а что завязывать-то?

послушай, сказал уайтхарт, вся контора знает, что ты называешь *бэксфордом* и каким потрепанным оттуда возвращаешься! ради бога, лу, даже моя секретарша говорит о своем муже – *уехал в ирландию*, когда он застревает в каком-нибудь пабе до утра

вот как, сказал я, потому что не знал, что сказать

ну да! весело сказал уайтхарт, заканчивай там и не вздумай сесть за руль, а то снова в участок загремишь, и возьми на работу мятный спрей, завтра тебе три часа крутить

баранку со старушками, он засмеялся, и я положил трубку, белый пузырек мирабели привычно лопался у меня на зубах, а ведь когда-то он мне нравился, этот круглоголовый уайтхарт, похожий на статуэтку сельского старосты, найденную в саккаре, я даже ходил с ним в паб и давился там ненавистным портером

когда ты перестанешь искать в людях свое отражение, лу? спросила меня гвенивер, когда мы сидели в чайной, кто бы ни встретился тебе – бирманский богомол или египетский стервятник, первым делом радуешься, что встретил большого, парящего, пристально глядящего, и, даже когда видишь, что рот у него в крови, думаешь, что он вегетарианец, который разок ошибся дверью

Лицевой травник

Есть трава кропива, добра есть в уксусе топить и пить по исходу недели на тощее сердце, в том человеке тело и утробу чистит, и голове легче живет, который человек бывал.

Настоящая женственность заключается в том, чтобы не бояться казаться смешной, думала Саша. Брать ли дешевый страпонтин в опере и сидеть в три погибели с коленями у подбородка, или повязывать дурацкий свитер на голову на ветреном пляже, или, скажем, снимать тесные туфли в кафе и шевелить пальцами – в общем, всегда поступать

так, как тебе хочется, не обращая внимания на удивленные взгляды знакомых. Младшая была как раз такой, и Саша ей немного завидовала. Однажды сестра захотела новое имя и получила его – хотя все в доме над ней посмеивались, да и в городе тоже.

– Ну зачем, зачем тебе новое имя? – спросила Хедда за ужином, когда ее дочь явилась в столовую с завитками сосновой стружки в волосах.

Весь день она просидела в плотницком сарае, притворяясь глубоко опечаленной.

– Затем, что ты могла придумать для меня что-нибудь получше, – ответила Младшая, – тоже мне имечко, да так зовут половину города! Вот ее мать не поленилась, заглянула в именовослов, – она ткнула пальцем в сидевшую напротив Сашу. – Хочу, чтобы меня звали Александра! Прямо с сегодняшнего дня.

– Тебя не могут так звать, – заметил отец, когда Хедда толкнула его ногой под скатертью, – вы теперь сестры, и вас будут путать.

– Ладно, как хотите. – Младшая вынула из корзинки булочку и сунула ее в карман кофты. – Тогда я буду жить в сарае, пока меня не позовут обратно в дом, но пусть позовут по имени, как полагается: *Александра, иди домой!*

Она вышла из комнаты, высоко подняв кудрявую голову. Когда дверь за Эдной захлопнулась, мачеха покачала головой:

– Она не может сидеть там всю ночь, в конце концов, ей всего девять лет. Сходи за ней, только не сразу, пусть помучается. Почему бы не дать ей среднее имя, раз она так хочет? Пусть будет Эдна А. Сонли.

– Надеюсь, вы не собираетесь отдать ей мое имя? – спросила Саша, повернувшись к отцу. – Две Александры в одном пансионе?

– Ну... поместились же две Изольды в одном романе, – невозмутимо заметил отец. – Одна белокурая, другая – белорукая! Ладно, мы с матерью что-нибудь придумаем.

С какой такой матерью? хотела спросить Саша, но промолчала и встала из-за стола, с шумом отодвинув тяжелую скамью. Утром она обнаружила Эдну в саду, румяную и довольную, сестра шла ей навстречу с пачкой почтовых открыток.

– Погляди, – сказала Младшая, протягивая Саше открытку с маргаритками, – я написала своей тетушке в Карнарфон, и красиво как! А ты говоришь, что я пишу как варвар на обломке скалы.

Дорогая тетушка, у нас все хорошо. Лето ужасно жаркое, а море грязное.

Твоя племянница Эдна Александрина Сонли



Есть трава воронец, любовная, растет на боровых землях, цвет бел, корень красен. Угодна давать женам и девам – горети по том человеке начнут. Вельми надо знать человеку.

Дэффидду Симусу Монмуту принадлежал дом его родителей и еще – купленный в давние времена у Ваверси луг за домом, две сотни ярдов неплодородной земли с восточной стороны от шоссе.

Эти Ваверси плохо смотрели за своими воротами и совсем не смотрели за стадом, их меченные фиолетовыми ромбами овцы то и дело уходили с пастбища на дорогу и стояли вдоль обочины. Узнать об этом можно было по сердитым сигналам автомобилей, застрявших возле поворота на Ллигейн, иногда водители выходили из машин, кричали и махали руками, пытаясь напугать безмятежных животных, топчущихся в теплой пыли. Овцы были причиной раздора молодого Монмута с соседями: ему казалось, что сгонять овец с дороги должны хозяева стада, а Ваверси утверждали, что – хозяин луга.

Продавая землю после войны – *во времена перченой ветчины*, как говорил старый Монмут, – Ваверси выговорили себе право пасти там овец, они знали, что скудный луг нужен был владельцу лишь для того, чтобы отделать имение

от дороги.

В купчей об этом ничего не говорилось, и Дэффидд в любую минуту мог запретить соседям топтаться в своих папоротниках, мог даже обнести луг проволокой и пустить туда собак, тем более что у него в доме жили два каштановых бриара, совершенно отупевшие от безделья. Но Дэффидд этого не сделал, и Саше это нравилось.

Еще ей нравилось его лицо, мягкое, как замазка, – казалось, что, прикоснись она к его щеке, пальцы уйдут в нее до самых ногтевых лунок. Правда, когда ей все-таки пришлось прикоснуться, оказалось, что на ощупь лицо Дэффидда напоминает камышовый султан, нет, скорее – перчаточную замшу, тонкую и слегка ворсистую.

Сашу, в отличие от многих, не раздражала ни его школьная, трогательно внятная речь – *видите ли, фиалки, без сомнения, любят тень*, говорил он, показывая гостям свою клумбу, – ни его утлая элегантность, ни любовь к елизаветинским поэтам. Ей нравилось, что учитель *строит из себя*, как говорила миссис Ваверси, и, если бы он взял, например, моду подписывать классный журнал «Д. С. Монмут, эсквайр», Саша бы даже не засмеялась: да, он был не как все, и она собиралась за него замуж.

Дом Монмутов расположился на обрыве, между двумя еловыми рощами, отделенными от угодий проволочной оградой, его створчатые северные окна смотрели на бухту, а южные – на Птичью пустошь. На террасе стояли каменные

урны, из которых торчали пожухшие на морском ветру кусты барбариса, яблоневого сад за домом безнадежно зарос, потому что садовника у Монмута не было.

Александра приходила сюда не часто – дом казался ей пустоватым, несмотря на обилие гобеленов и потертых ковров, к тому же ей не нравился холодный каменный коридор, разбивающий первый этаж на две половины. Ей казалось, что это один из тех замковых ходов, что ведут в колодцы-ловушки или в потайные тоннели, откуда вечно слышатся звуки волынки, и что в доме учителя он неуместен, как, скажем, молоко красной лани в школьной столовой.

Таким же неуместным казался ей дуэльный пистолет с позолоченными полками, висящий в библиотеке, где учитель обычно спал зимой, чтобы не топить в спальне, – на кушетке возле маленькой чугунной печки. Предки Дэффидда были учителями и фермерами, никому из них и в голову не пришло бы вызывать кого-то на дуэль, но Монмут утверждал, что это фамильная вещь, и держал пистолет наготове – вычищенным и заряженным.

* * *

Есть трава земленица. Добра та трава очи парить, у кого преют, а парить с листом смородинным, а корень, у кого зубы болят, и клади на зуб, и от того уйметса.

Первую страницу дневника Саша написала, когда умер

отец.

Несколько дней она ходила по дому, закусив губу, потому что слова, будто черная, смолистая нефть, хотели вырваться и затопить все вокруг, но обратиться ей было не к кому, последний собеседник – отрешенный, неласковый – уже покинул дом. Говорить с сестрой и мачехой было все равно что *попусту растрачивать дыхание*, так это звучало на английском, но Саше больше нравилась русская версия: швырять слова на ветер. Попытка выплеснуть черную нефть, занявшись делом – мытьем полов, стрижкой можжевелевой изгороди, – оказалась бесполезной, и, дождавшись вечера, Саша достала из школьной сумки сестры тетрадь и синий карандаш.

Некоторые думают, написала она на первой странице, что существовать можно только тогда, когда люди знают, что ты существуешь. Может, оно и так, а может, и нет. А вот ненавидеть – это я точно знаю – можно только тех, кто знает, что ты их ненавидишь. А иначе какой от этого прок?

На второй странице она в столбик написала несколько имен, которые теперь незачем было произносить. Лиза Сонли. Уолдо Сонли. Дейдра. Помм. Электрик Стайнбаум.

Служанка Дейдра из Абертридура – ужасная растеряха, зато красавица – рассказывала Саше про угольные отвалы, окружавшие шахтерские поселки наподобие крепостных стен, плавильные печи, рассыпающие красные искры, угольную пыль, привычную, как вкус горелого хлеба, ущелья, по-

хожие на край света, где туман заползает в рот и лошади окунают копыта в пустоту.

Самым любимым рассказом Дейдры, от которого у Саши вся спина покрывалась мурашками, была история ллануитинской общины – поселка, сто двадцать лет назад ушедшего под воду целиком.

Все сорок домов и церковь Святого Иоанна Иерусалимского! Их проглотило проклятое водохранилище, говорила служанка, округляя блестящие голубые глаза, и Саше представлялось чудовище в голубой чешуе, разевающее пасть с голубыми зубами. Такие зубы бывали у нее самой, когда она возвращалась из леса с корзиной терновых ягод для *цыганского сиропа*, ягоды густо пачкали лицо и рот, а на дне корзины пускали голубоватый сок, оставляющий несмываемые пятна.

Когда Саше исполнилось девять лет и она стала писать стихи, Дейдра прочла несколько страниц, подумала немного и сказала с важностью:

– Ну что ж, детка, похоже, боги помазали твои губы майским медом и кровью мудреца. Так они поступают с теми, кому суждено складывать слова. Губы помазали даже барду Талиесину, ты будешь проходить это в школе.

– Кровью? Какая гадость, – сказала Саша и блаженно улыбнулась.

Табита. Письмо первое

Саут-Ламбет

Тетя Джейн, дорогая, у меня новости!

Во-первых, мистер Р. обещал перевести меня на второй этаж, там двойные окна с жалюзи и нет сквозняков. Больше не надо будет носить с собой шарф и шерстяные носки. Во-вторых, я починила кофейную машину и начинаю день с чашки эспрессо, только зерна молоть приходится помельче, иначе она засоряется и ужасно клоочет. Обошлось всего в девятнадцать фунтов.

В-третьих, у меня появился сосед по площадке. В той самой квартире, где жил этот ужасный человек со своей ужасной семьей, надеюсь, этот будет вести себя потише и не станет стряпать кесадильяс всю ночь напролет.

Он уже взялся за благоустройство: поставил звонок вместо двух голых торчащих проволочек и прикрутил на дверь номер 6. Я видела нового соседа мельком, он довольно высокий, хмурый, носит очки в тонкой оправе – оправа блестит, как золото, но, будь это золото, зачем бы ему селиться в Южном Ламбете?

Хобарт-пэншн все-таки жуткая дыра, на лестнице вечно окурки, несмотря на железные пепельницы на каждом углу, а у меня в ванной снова протекла труба, и приходится то и дело подставлять салатную миску. От этой хозяйки-австралийки с голубым перманентом не дождешься неоплаченных благодарений, нечего и надеяться!

Да, так вот. Не знаю, как зовут нового соседа, надо бы подглядеть у консьержки в списке жильцов, но смотреть на него приятно, хотя толком поздороваться мне пока

не удалось. Зато вчера я как следует его разглядела – в дверной глазок, пока он возился со своим новым звонком.

У него худое красивое лицо и сто лет не стриженные волосы пепельного цвета, хотя, на мой взгляд, к такому лицу подошел бы короткий убедительный ежик, на военный манер. Еще у него тяжелая походка, хотя весит он не больше ста сорока фунтов, и привычка выходить с зонтом. Глаза я пока что не разглядела. Передавай дяде Тимоти привет и скажи, что я пришлю ему эту книжку про кактусы, как только найду время съездить в центр и доберусь до Уотерстоунз.

Не простужайся, не выходи без шарфа.

Твоя Табита

Луэллин

утром я купил билет в бэксфорд, но не уехал, потому что не смог

ирландский залив все так же катит свинцовые волны, зрение моего отца сливается с солнцем, вкус – с водой, речь – с огнем, но ни одно из перечисленных свойств не перейдет ко мне, как предсказывают упанишады, потому что я второй год не могу добраться до кладбища баллимерн, и в этот раз тоже не доберусь

я уже второй час сижу в *трилистнике* и думаю почему-то о поэзии – может быть, потому, что на моем билете гряз-

новато напечатан портрет дилана томаза в рыбацкой шляпе с отворотами? вот так умрешь, а твое небритое лицо станет логотипом паромной компании

билет уже перестал быть билетом, но выбросить жалко, мятая бумажка с числом и часом несостоявшегося отплытия – это уже пятый билет, а может, и шестой, который я оставлю в корзине для мусора, пять раз по шестьдесят фунтов, это ящик пендерина в зеленой коробке с красным драконом или два ящика непроглядно черной водки файв, беспечальная неделя, поток благодатного молчания

я мог быть в бэксфорде через четыре часа, но не буду там и через четыре года, я пью холодный чай и разговариваю с хозяйкой гвенивер, она рассказывает о вчерашних похоронах зеленщика – с таким удовольствием, с каким рассказывают о венчаниях

у гвенивер чудесное лицо – густо напудренное, в щербинках и пигментных пятнах, оно напоминает мне старый корабль на паромной переправе, с облупленным носом и ржавыми перилами, которые суровый матросик по утрам подновляет белой краской, расхаживая всюду с кисточкой и пластиковым ведром

двадцать четыре белые гвоздики с зеленью, золотые виньетки, черные ленты прилагаются, говорит она с восторгом, ну да, точно такой венок я купил, когда в первый раз не уехал в ирландию – я сидел на этом же стуле, прислонив венок к стене, и провожал глазами отходящий от пристани

паром с надписью *норфолк* на грязно-белом боку

что же это у вас все мрут тут, как мухи? спросил я у гвенивер, спросил и смутился: хозяйка уже много лет была вдовой, при мистере маунт-леви здесь был паб под названием *кот и здравица*, в нем было четыре футбольных телевизора и ни одной фаянсовой креманки с медом

когда я смотрю на эти креманки, то вспоминаю осовевших ос в блюдец с вареньем на веранде нашего дома, ос можно было вынимать ложкой и класть на траву, некоторые так и не просыпались от клубничного сна и лежали возле веранды, постепенно сливаясь с землей

...мрут, как мухи? ты слишком много рому подливаешь себе в чайную чашку, нахмурилась гвенивер, вынь эту фляжку из кармана и поставь на стол! что до похорон, то я, право, не вижу здесь ничего странного – в каждом городе бывает время, когда жители умирают один за другим, так города очищаются от людей, понимаешь, лу? некоторые люди это чувствуют и уезжают сами, не дожидаясь, пока на них свалится камень со скалы эби-рок или наедет очумелый велосипедист

я достал фляжку и вылил остаток рома в остывший чай, гвенивер взглянула на часы, поднялась и, сложив на поднос грязную посуду с моего столика, направилась в кухню – ей бы и в голову не пришло напомнить мне, что уже шесть часов, мой паром уже на половине пути в ирландию и скоро последний автобус на свонси отойдет от супермаркета в верхнем

городе

я ведь – упаси, господи – мог подумать, что мое присутствие ей в тягость

* * *

кобальтовые тучи, с утра зависавшие над морем, потемнели, набухли и пролились коротким дождем, вода в канале сразу же поднялась шапкой грязной пены

направляясь в *небесный сад* – заведение, где к пиву подают маринованные яйца, потому что хозяин родом из Чешира, – я решил, что переночую в комнате над баром, а завтра вернусь домой на радость начальнику

пробираясь по дуайн-стрит, я услышал за спиной медный звон и посторонился, прижавшись к стене: вверх по улице ехала пожарная машина, двое парней в кабине были похожи, будто сицилийские демоны-близнецы, на повороте машина застряла, слегка прижав меня колесом к стене, стой спокойно, приятель, сказал один из демонов, появляясь со стороны насоса и протягивая мне руку, теперь не дыши и протискивайся потихоньку

я принялся отряхивать испачканное известкой плечо, стены на дуайн побелены на совесть, водитель ухмылялся из кабины, его напарник похлопал меня по спине: слушай, приятель, выйди вон туда и помаячь, чтобы никто с перекрестка не выскочил – а то на хай-нюпорт выгорит весь переулок,

там еще четыре дома в огнеопасном кустарнике – шевелись, парень! по дружбе, да, парень?

по дружбе – думал я, стоя в луже и сурово оглядывая улицу, – нет никакой такой дружбы, приятель, и слово-то неудачное, в нем ужиное из-под камня скольжение, рыбий жир в чайной ложке, какая еще тебе дружжжба, пожарник?

все эти люди, встреченные в зябкой толпе, зацепившиеся за тебя заусеницей жалости, щербатым краем зависти, – все эти люди только тем и хороши, что с ними можно словом перекинуться, а с другими и перекинуться не о чем, только тем и хороши, что без них забыл бы, каково это – брать чужую руку в свою, стучать по плечу, улыбаться, на ходу прижиматься безучастной щекой

или вот еще – разговоришься с ними по пьяному делу, *разгрузишь трюмы*, наскочишься от радости и думаешь, что приблизился, завязал узлы, практически причалил, а утром проснешься на пристани – только лохматый кусок веревки в руках, уже заселенный муравьями, а друзья твои отдали швартовы, у них свои дела, трезвые, крепкие, самый малый ход вперед

не прошло и двадцати минут – я как раз вышел из *якоря*, терпения не хватило добраться до чеширской пивнушки, – как пожарники снова показались на дороге и, заметив меня на обочине, остановились

повезло этой ведьме на хай-ньюпорт-стрит! с сожалением сказал старший демон, открутив кабинное стекло вниз и вы-

ставив острый локоть, все дождем залило, даже разгореться толком не успело! о поджоге мы, конечно, доложим куда следует

что же ведьма – жива? спросил я, чувствуя, как в левый ботинок потихоньку затекает вода, а что ей сделается. пожарник обернулся к водителю, и оба улыбнулись весело и страшно, на, возьми вот! водитель протянул мне глянцевую карточку из окна кабины, не ровен час, у тебя что-нибудь вспыхнет, не стесняйся, звони

* * *

они сговорились заранее, в этом нет никаких сомнений: когда я сел за столик в пабе, они беседовали так гладко и оживленно, что я почти сразу понял – это заговор!

сегодня у плотника было нарочито пресное лицо, а у суконщика дрожала верхняя губа, как будто он вот-вот заплачет, а может, у меня просто перед глазами все дрожало – я ведь перед *небесным садом* еще в *якорь* зашел на стаканчик – так дрожало, что кошку суконщика, спящую на стуле, я поначалу принял за оставленную кем-то грязную шляпу

представь, она завела двух здоровенных псов, чтобы никто к ней в сад не залез, заявил суконщик, скосив на меня глаза, еще бы – там ведь могила ее убитой сестры, ясное дело, народу такое не нравится, вот кто-то и бросил ей за забор подожженную тряпку с бензином!

ну, положим, могилу никто не видел, возразил плотник, а насчет собак – лет десять назад ей привезли из приюта двух щенков в чесотке, и она их выходила

да брось, отмахнулся суконщик, все знают, что она может порчу наслать – вот и лейф говорит, что у него крышу чуть не снесло ураганом, стоило ему с хозяйкой *кленов* поссориться, так что ворота ей за дело подожгли, и это еще не конец

зато она до сих пор заплетает косу, гордо сказал плотник, а в детстве у нее был красный велосипед, один такой на весь город, из ирландии было видать, как спицы блестят! особенно зимой, на свежем снегу, на нем потом и сестра ее младшая каталась, александрина

и где теперь эта сестра, проворчал суконщик, а твоя ведьма ни дать ни взять шумерская царица, та, например, обиделась и повесила голую сестру на крюк!

убийство ради царского трона – еще куда ни шло, я наконец вмешался, чтобы доставить им удовольствие, или, скажем, замужество из мести

верно, от шумеров до кельтов рукой подать! провозгласил суконщик, поглядывая в сторону кухни, откуда к нам не спеша направлялся патрик, бутылки с пивом он держал между пальцами за горлышки, будто подстреленных уток

Саша Сонли

Хорошенькое дело: выйти из дома в рассуждении выпить

чаю в деревне, попасть под дождь, пройти половину дороги в мокрых ботинках и вспомнить, что чаю выпить теперь нигде. Резные красные двери чайной для меня закрылись, хотя я ничего плохого не сделала Гвенивер Маунт-Леви. Как, впрочем, и никому другому в этом городе.

Dim gwerth rhech dafad, как сказал бы отец, страшно любивший местные ругательства, не думай об этой ерунде, так это стоит понимать, хотя речь там идет об овце, которая шумно испортила воздух.

Они любили мою невыносимую сестру, звали ее *muffin* и *sugarplum*, а меня не полюбят – даже если я подарю всем по серебряной ложке, и не пожалеют – даже если мой дом сгорит. Кто-то уже пытался поджечь его в понедельник. Если бы не ливень, огонь добрался бы до папиного сарая, полного опилок, и дому пришел бы конец – а так обгорели только ворота, угол гостиной и два оконных стекла лопнули.

Вот о чем хотела сказать мне соседка Прю, поглядывая на меня с сочувствием, вот такая *вся правда*. Ее кузина Финн подрабатывает не только в «Кленах», она берется за любую работу, за детьми присматривает, готовит на свадьбах, помогает на окрестных фермах. Она отлично знает, кто пришел сюда с банкой керосина, плеснул через забор и бросил спичку. Кому в деревне нужен керосин? Рыбакам, выходящим в море с керосиновой лампой на корме, и тем, кто по старинке обрабатывает деревья в саду – таких можно по пальцам пересчитать, но я не стану.

Ладно, кроме чайной есть и другие возможности. Выйти к старому форту, например, и смотреть, как в небе занимается холодная синева, а мелкое лимонное солнце выпрастывается из холмов понемногу. Потом добрести до грузового порта, подойти к ограде пристани, туда, где уши и рот забивает туманом, а тишина становится вязкой. Подняться на утес Эби-Рок и вспомнить, сидя на черном валуне, о чем я думала в то январское воскресенье, когда захотела смерти своей сестры.

Отсюда тело будет лететь вниз, пока не ударится о выступ скалы, потом оно упадет между камнями, похожими на спины морских котиков, лоснящиеся на солнце. Потом тело ударится о кипящую черную воду прибоя, но сестра не услышит всплеска, не услышит голосов взметнувшихся птиц. Так я думала, сидя на черном валуне, хотя вовсе не собиралась сбрасывать сестру со скалы. Просто когда думаешь о чьей-то близкой смерти, ярость быстрее проходит.

* * *

Двадцать первое июня. Письмо из отеля «Хизер-Хилл» пришло неделю назад вместе со счетами и брайтонской открыткой от миссис Треверскот. Эту даму я помнила довольно смутно, кажется, у нее был смешной подбородок долотом. Да, верно, было начало весны, они с мужем сильно замерзли, гуляя вечером по берегу, и я согрела им на ночь красного ви-

на с гвоздикой. Люди бывают тебе благодарны за неожиданные мелочи и совершенно не замечают благодеяний, в которых заранее уверены.

А может, это были другие постояльцы, прошлой весной их было довольно много, я, помнится, даже растерялась и пригласила помогать родственницу Воробышка Прю. За семьдесят пять фунтов в неделю. В этом году пансион пустует и работы немного, но соседская Финн прижилась и вовсе не думает уходить.

Я распечатала письмо и оставила его на столе, чтобы мама прочитала: меня с великим почтением приглашали на кофе в отель «Хизер-Хилл». Мама читает все, и мой дневник, и мою редкую почту, я точно знаю, что читает – полгода назад я нашла двадцатифунтовую бумажку в самой середине травника. Как раз в тот день я собирала мелочь по всем ящикам комодов, чтобы купить кофе и туалетную бумагу, – в доме может быть шаром покати, но в нем должно быть и то и другое.

«Кофе в сумерках с *Dura*, в синей гостиной, в субботу, в пять часов пополудни». Меня в нашей деревне никуда не зовут, хозяйева гостиницы об этом не знают, им еще никто не сказал. Конверт с приглашением лежал на видном месте, посреди кухонного стола, и как будто светился, так в темноте светятся окна большого отеля, когда смотришь на них с вершины холма. Иногда, в тихую погоду, оттуда доносятся автомобильные гудки и дивные невразумительные звуки чужого

веселья.

– О боже, мне не в чем идти, – сказала бы теперь Младшая и принялась бы выворачивать шкафы у себя в комнате.

– Там будет слишком много чужих людей, – сказала бы мама.

– Мне нечего там делать, у меня с вечера клей заварен, – сказал бы отец и пошел бы в сарай клеить свои толстоногие стулья.

– Надень фамильный жемчуг, – сказала бы соседка Прю, – что ты его маринуешь!

– Тебе надо выйти в свет, рано или поздно это случается, – сказал бы учитель Монмут и перечитал бы письмо еще раз, надев свои очки, в точности такие, как на портрете Теодора Рузвельта, висевшем у нас в кабинете истории.

Там был целый ряд портретов, все веселые, с пышными усами, а женщина была только одна – королева Виктория, старая и несчастная, в сапфировой тиаре и кружевах.

* * *

В школе миссис Мол я была единственной, кто не носил в ранце россыпь купленных в супермаркете флаконов и палеток, девочки красились в тесной туалетной комнате, перед зеркалом, вклеенным прямо в кафельную плитку. Там всегда пахло острым девичьим потом, дешевой пудрой и немного – свернувшейся кровью.

У меня и теперь только два флакона: один с духами – *духом благовонна подобно фиалкову корени!* – и один с кремом для рук. На моем лице даже бледная косметика выглядит как синие полосы на женщинах племени гуруппи. А вот мама всегда красила губы, помню, что на тубике помады было написано *амарант*.

До гостиницы меня подбросил старший Эвертон на своем молочном фургоне. Перед тем как спуститься на цокольный этаж, я посмотрела на себя в зеркало, занимавшее в вестибюле половину стены. Вторая половина была занята картиной, изображающей вишгардский форт с шестью чугунными пушками.

Зачем я послушалась воображаемую Прю и надела бабушкин жемчуг? Похоронные туфли, впрочем, выглядели неплохо. Перекинувшись парой слов со знакомым консьержем, я вызвала лифт, проехала один этаж, вошла в гостиную и остановилась на пороге. Сидящие в креслах дамы повернули головы и стали меня разглядывать – молча, придерживая свои чашки над блюдами. Вид у них был довольно обыкновенный, одна из приглашенных – бакалейщица миссис Андерсон – явилась в джинсовом комбинезоне, заправленном в резиновые сапоги. Бедные наши провинциалки, озерные девы в тюленьих шкурах.

Я расправила платье и села в свободное кресло. Закусок еще не принесли, посреди комнаты стоял столик с тремя кофейными машинами, вокруг столика кружил низенький че-

ловек в вязаном жилете: не переставая говорить, он крутил какие-то ручки, машины гудели и прыскали коричневыми струйками, щеки толстяка надувались и опадали, как будто он тоже производил кофейные порции, только невидимые.

Внезапно он повернулся ко мне лицом и оборвал себя на полуслове, желудевые глаза остановились на моем декольте и медленно прокатились по животу и ногам.

– Подойдите же сюда, дорогая! Какой сорт вы предпочитаете?

Он зачерпнул горсть зерен из огромной банки с надписью Duga и простер ко мне руку. Я покачала головой, отказываясь. Дамы очнулись и тихо заговорили друг с другом, высывая головы из кресел, будто ящерики из нагретых солнцем камней. Надо было остаться дома и заняться стиркой, сказала я себе, пока распорядитель обходил дам, предлагая понюхать зерна из своего кулака. Тем более что завтра у меня паром в Дилкенни, а там меня ничего хорошего не ждет.

Я обещала помочь несчастной, избитой, беспутной *chwaer wirion*, но хочу ли я этого? И разве мы больше не враги? И как вышло, что свежая вонючая амбра последних лет осветлилась, затвердела и стала мускусной и золотистой? Неужто под действием морской воды и прямого света?

Выходит, вероломство в восьмом круге, где мучаются обманщики по любви и корысти, наказывается особенным унижением – *помощью, приходящей от обманутого*? Нет, семнадцатая песнь не годится, другое дело восемнадцатая: злые

щели для обманувших тех, кто им не доверился.

Злые, маленькие, мокрые щелки!

* * *

Если бы я знала, что вечером этого дня навсегда перестану разговаривать, то ответила бы кофейному карлику что-нибудь приятное – просто чтобы пошевелить губами напоследок. Но я не знала и сидела молча, я совсем ничего не знала – ведь у меня не было божественного слуха, как у старика на прабабкиной иконе.

Мама часто показывала мне эту икону, потом она пропала бог знает куда. И мама пропала, хотя и появляется в доме до сих пор, но мы не разговариваем, я ее даже не вижу, в отличие от собак – они приветствуют маму тихим, недоуменным рычанием. На иконе был нарисован золотой старик с расходящимися от головы не то лучами, не то струнами, и мама сказала, что это божественный слух, называется *тороки*.

Когда заболевший отец садился на свой стул у окна, уперев руки в колени – так ему было легче дышать, – и прислушивался к тому, что делалось в доме, мне казалось, что из его головы выходят такие же настороженные струны. Я представляла, как они поднимаются в комнаты постояльцев, выбираются из дома, минуют сад, а потом, ослабев, проползают по пляжному песку и понижают у самой воды, будто красные

водоросли лавербред, которые служанка Дейдра когда-то жевала вместо табака.

«Нажимаешь кнопку – и утро началось. Надежная робуста... в рассрочку... воздушная пенка». Меня уже мутило от жары и ровного, настойчивого голоса коммивояжера. Окна в гостиной были наглухо зашторены, и липкий кофейный угар, казалось, оседал на стенах и потолке. Где же угощение? Хотя бы тарталетки и немного сквозняка. Миссис Андерсон то и дело вытирала лицо салфеткой, а ее соседка обмахивалась рекламным буклетом. Похоже, они тоже попались на крючок, поверили, что хозяйева отеля хотят познакомиться с местными дамами. Самое смешное, что, будь у меня хоть пара сотен в кармане, я бы послушно купила эту ловкую машинку, нажимаешь кнопку – и начались все утра мира, разве плохо?

Бархатное платье и похоронные каблуки. Эбеновое дерево и фазаньи перья. Кофе в сумерках с *Dura*. Дура ты, Саша, дура. А еще ведьма.

Хедда. Письмо первое

Кумараком

Дорогая Эдна, ты мне не ответила, но я все равно надеюсь, что все у вас хорошо.

Здесь, в Лагуне, у меня ночная работа и приходится нелегко, не то что в «Кленах», – о долгих чаепитиях в саду и мечтать нечего. К тому же дождь идет не переставая, еще хуже, чем у нас в феврале, мелкий и противный. Зато желтую пыль прибило, а то я всю

весну задыхалась и глаза постоянно болели.

Детка, дорогая, зря ты сердишься и молчишь. Я уехала не потому, что тебя разлюбила, а потому, что у меня будет ребенок – и у него должен быть отец. Нельзя же, чтобы ни у кого из вас отца не было. Сама подумай, как бы я выглядела в нашем тесном Вишгарде – вдова плотника Сонли со смуглокожим младенцем на руках?

Мистер Аппас относится ко мне хорошо, правда, с нами живет еще одна женщина, местная – ее зовут Куррат, она моложе меня, совсем некрасивая, с небритыми ногами. К ней он относится гораздо хуже.

Корабль у него действительно есть, но очень маленький – скорее, лодка со скамейками для катания туристов по озеру. Зато он выкрашен в ярко-синий цвет и вместо крыши натянута маркиза с фестонами, точь-в-точь как над столиками у старого Лейфа. Здесь вообще много синего, оранжевого и малинового, у меня даже в глазах рябило поначалу.

Раньше эту лодку нанимали постояльцы Кокосовой лагуны, в основном для поездок в птичий заповедник (я там была несколько раз, ничего особенного, шумные сороки да кукушки), а теперь туда по воде не доберешься, каналы заросли ряской, так что мистер Аппас сдает ее туристическим группам – вместе со мной и рулевым, чилийцем Пако.

Днем я подаю на кораблике прохладительное и пиво, а вечером возвращаюсь в Тоттаям и работаю в мастерской у старшего брата мистера Аппаса. Спать

иду часа в три ночи, а вставать приходится рано – в моем положении это не слишком хорошо, но что поделаешь, нам нужны деньги.

Я ведь дала слово мистеру Аппасу, что продам «Клены», но не смогла, у меня, как утверждает адвокат, нету таких прав, то есть вообще никаких прав нету, потому что перед свадьбой я подписала какие-то бумаги. Разве что твоя старшая сестра согласится. Хотя надеяться на нее не стоит, небось рада-радешенька, что избавилась от меня. С тяжелым сердцем я оставила тебя в этом городе, но скоро все изменится.

Эдна, дорогая, помни – бумаги бумагами, но «Клены» и мои тоже, а значит, часть денег вы должны пересылать мне, половину или даже больше. У вас там все под рукой, свежая рыба, свежий хлеб, крыша над головой, а здесь за все приходится платить, как будто всем должна, и никто даже на чай не позовет.

Люди просто ужасно жадные и думают только о себе, меня на своем языке называют белобрюхой рыбиной, это мне волосатая Куррат сказала, а мистер Аппас и не думает их проучить. Хотя в этом белом брюхе его ребенок, не чей-нибудь!

Х. С.

Письмо Дэффидда Монмута

...твои обстоятельства, Саша, всегда с тобой заодно. Ты решила однажды, что создана для мучительных воспоминаний, ты скреплена ими, как будто музейный

скелет хищного существа – проволокой, и, если их выдернуть, кажется тебе, ты рассыплешься на тысячу позвонков и мелких хрящиков.

Воспоминания отложились известкой в твоих сосудах и не дают твоей крови бежать, а тебе не дают распрямиться. В тебе живет девочка, терзаемая предчувствиями, и грубоватая старуха одновременно. Когда-то я знал эту девочку, любил ее как умел и даже хотел на ней жениться, но старуха... я всегда боялся старухи.

Забвение – защитный механизм души, некоторые стекла должны покрываться копотью, чтобы можно было не ослепнуть, глядя на завтрашний день. Если бы я не сделал этого со своей памятью, то не смог бы даже писать тебе. А ведь я пишу тебе.

Ты, верно, не помнишь, как в октябре, когда я брал тебя в Лондон после нашей помолвки, мы попали под дождь в Кенсингтонских садах и метались по бесконечным, залитым водой аллеям. Я предложил снять номер в одном из старинных отелей, что выходят окнами в парк, и провести там ночь – обсохнуть, выпить вина, заказать утку с каштанами. Денег у меня было в обрез, но я так хотел тебя, сердитую, взъерошенную, облепленную мокрым платьем, что готов был руку отдать за теплую постель. Какое ребячество, сказала ты, передернув плечами, у нас нет багажа и разные фамилии – что подумает портье? И обратные билеты пропадут!

Мы так и не сняли номер, ни в тот день, ни в другой,

а потом, когда сняли – целый коттедж на озере Бала, – то спали валетом в широкой викторианской кровати, я гладил твои ноги в шерстяных носках и был счастлив, как последний дурак.

Ты – самое лучшее и самое разрушительное, что было у меня за много лет. После твоего ухода я стал всматриваться в людей на твой ведьминский манер и, признаться, немного их разлюбил. Смешно сказать, я читаю деревенским подросткам Платона и Томаса Харди, хотя знаю, что это всего лишь слова, из которых создавался их – Платона и Харди – собственный мир, папье-маше их собственного ужаса, нечто совершенно бесполезное для остальных. Книжки пишутся для тех, кто их пишет, сказала ты однажды, они заменяют им жизнь, как ячмень заменяет кофе!

В юности ты напоминала мне мальчишку из рассказа Киплинга, которого родители бросили в Индии на произвол не то родственницы, не то дуры-служанки, и он ослеп, потому что ему ни на кого не хотелось смотреть. Я знал, что должен забрать тебя оттуда, ободрать эту коросту, которую ты нарастила поверх теплой, живой Александры, но «Каменные клены» тянули тебя на дно с такою силою, как если бы ваш пансион назывался «Каменный якорь».

Когда ты отправила мне кольцо, завернув его в бумажку, на которой даже записки не оказалось, я почти не удивился. Я всегда знал, что в тебе живет редкая по нынешним временам *натуральная жестокость*. Большинство людей жестоки с чужих

слов, они читают жестокие книги, слушают жестокие новости по дороге из Борнмута в Ридинг, смотрят на залитые кровью экраны, с тобой же другая история – ты просто не умеешь по-другому, как не умеешь смирать гордыню или повиноваться страсти.

В тебе стоит тишина, как на площади после казни.

ДМ

Р. С. Забыл написать о главном! Помнишь, когда мы встретились в ньюпортской лавке, я сказал, что мне предложили работу в туристической компании, и ты недоверчиво покачала головой? Прежний кандидат внезапно отказался, и приступить нужно через две недели. Это восемь тысяч миль от Монмут-хауса! Так вот, я решился.

Лицевой травник

Есть трава еиндринкът, и кто тебя не любит – дай ему пить, и он тебя станет любить и отстать не может до смерти, да быть, и зверя приуцшишь – дай ему есть.

Новые гостиничные карточки пришли к аптекарю через три дня в плотном желтом конверте: «Х. и А. Сонли, завтрак и комнаты, Вишгард, Южный Уэльс». В верхнем углу была вытиснена красная кленовая веточка. Повертев их в руках, Саша подняла на аптекаря глаза:

– Как вы думаете, кого она имела в виду, меня или Млад-

шую?

– Полагаю, она имела в виду Александрину, – ответил тот не задумываясь, – ведь ты осенью поедешь учиться, а они остаются здесь.

Он запустил руку в высокую банку для сладостей, достал миндальный сухарик, протянул его Саше и зачем-то сказал, мелко кивая:

– Твой отец был хорошим человеком, он никому не сделал ничего плохого.

Чтобы тебя считали хорошим, достаточно никому не делать плохого, думала Саша, переходя Нижний мост с тяжелой сумкой через плечо, по дороге она зашла к Кроссманам за хлопьями. Совершенно необязательно делать хорошее. Можно просто сидеть на месте, молча и не двигаясь, грызть миндальные сухарики и быть объектом всеобщей любви. Люди любят тебя за то, что им не нужно напрягаться, чтобы осмыслить твои слова и поступки.

Расстояние между тобой и людьми должно быть тесно заставлено, думала Саша, спускаясь по Харбор-роуд, люди хотят опираться на знакомые комоды, перепрыгивать понятные стулья, миновать известные заводы зеркал. Люди не хотят видеть пустоту между собой и другими, они заполняют ее горячим рыхлым веществом – овсянкой своего равнодушия, сгущенкой своих объясняемых небес, да бог знает чем заполняют, даже думать неохота. Меня-то они никогда не полюбят, меня уже не любят.

Вернувшись, она высыпала карточки на стол в гостиной и, услышав громкие голоса, заглянула в кухню – там Хедда в клеенчатом фартуке ловила вялых осенних ос на подоконнике и бросала их в высокое пламя газовой конфорки. Осы трещали, будто маленькие хлопушки. Часы на стене показывали половину пятого. В духовке светился медовый кекс для ужина четверых постояльцев.

Саша вошла, молча повернула красный выключатель на газовой трубе и принялась выгружать из холщовой сумки овсяные хлопья. Руки у нее дрожали, хлопья шелестели в картонной коробке, будто сухие крылышки. Огонь погас, в кухне наступила тишина.

Хедда сняла фартук, повесила его на стул, выпрямилась и внимательно посмотрела на Сашу, в глазах у нее шумело синее газовое пламя. Саша отступила назад. Две уцелевшие осы лениво ползли по оконной раме. Воздух в кухне загустел, будто медовая начинка, еще минута – и дышать им было уже нельзя.

Но минута прошла, мачеха усмехнулась и вышла из кухни, а Саша осторожно перевела дух.

* * *

Есть трава косая жеслеска, и та трава вельми добра, и ково мехирь не стоит, пей в вине и хлебай в молоке, и станет стоять без сомнения, а только дай жене – и она заблудит.

дитса, то и станет мыслить, кому дать.

Каждый раз, открывая дверь в теплицу, она искала глазами брезентовый фартук и нитяные перчатки, висящие на гвозде, каждый раз, входя, она пригибалась – в точности как мама, хотя была ниже ее на голову и не задела бы алюминиевую раму, даже если бы встала на цыпочки.

Кирпичная стена, вдоль которой росли гибискусы, всегда оставалась теплой, здесь можно было читать даже зимой – к полудню солнце нагревало стекло, цветы атели в горшках, душно пахло сырой землей, и даже мерзлая трава за окнами теплицы казалась покрытой сизыми лепестками.

За последние восемь лет мамины драцены сильно ослабели, зато уцелели гортензии и жимолость. Саша надеялась, что после отъезда Хедды драцены сразу поправятся, но ржавые пятна никуда не исчезли, а одно деревце утончилось у самых корней и в один из зимних утренников упало, обнажив жалкие запутанные корешки.

С тех пор как мачеха уехала, Саша ни разу не покидала гостиницы больше чем на несколько дней. В прошлом году учитель Монмут уговорил ее поехать во Францию, но она так плохо спала и так часто звонила соседке, которая согласилась приглядеть за хозяйством, что через шесть дней он купил ей билет домой. Гостиничные курсы, на которые ее пригласили официальным письмом – обучение оплачивал какой-то кардиффский фонд, – стали первой стоящей причиной покинуть Вишгард надолго. Причиной, которой она

не смогла противиться, потому что в ней скрывалась надежда, почти неслышная, будто снег в стеклянном шарике.

Мы предлагаем хозяевам, ведущим мелкое гостиничное хозяйство на валлийской земле, говорилось в письме, отличавшемся несколько высокопарным стилем, изучить новейшие секреты ремесла за два месяца, проведенных в одном из прекраснейших городов нашего края на полном пансионе.

Письмо чуть не попало в корзину для растопки, куда горничная вытряхивала рекламные листовки из почтового ящика, – утром Саша заметила желтый конверт, вытащила его из горы сосновых щепок, открыла и прочла бумажку вслух, два раза подряд, пока Эвертон недоверчиво слушала, выключив пылесос. Не такое уж мы мелкое хозяйство, проворчала горничная, принимаясь за уборку, уж не знаю, чему вы так радуетесь! *Fel ci â dau gos!*

Саша хорошо помнила этот день – двадцать второе августа, понедельник, – но не только потому, что утром написала в столичную контору, чтобы дать согласие. В этот день ирландский антиквар попросил ее руки, часа в три пополудни, спустившись из своего номера с видом на пляж, который он снимал во второй раз, оплатив его заранее.

Торговец из Дилкенни, маленький и жесткий, похожий на корень болотного кипариса, сразу показался Саше сомнительным постояльцем. Когда каждый день встречаешь и провожаешь людей, их лица становятся ясными, как нотные листы: вот скрипичный ключ, вот басовый, здесь allegro

moderato, здесь agitato. Его светлые ирландские глаза и белые ровные зубы делали лицо выразительным и даже приятным, но, увидев его в первый раз, Саша вздрогнула, как будто услышала звук разбитой чашки. Спустя девять лет она пыталась вспомнить то тревожное чувство, чтобы занести его в победный список своей проницательности, но вспомнила только дантовскую строфу, которая в тот день пришла ей на ум:

*Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых.*

В отличие от опасного великана, *что ласковыми речами улеицивал гостей, а потом убивал доверившихся его радушию*, торговец стариной был не слишком приветлив, и его улыбку Саша видела только два раза: в первый раз, когда он помогал ей красить ворота «Кленов», красная краска попала ему на рубашку и ему пришлось раздеться до пояса, а второй – когда он положил на гостиничную конторку старинное золотое кольцо с аметистом.

* * *

Есть трава болодной былец, растет подле великих рек, высока, что крапива, цвет на ней, что бел походил, а корень хохлат, черен, красноват, тяжек дух.

Хедда перестала носить траур спустя два месяца после смерти отца.

– Я уезжаю в Кардифф, – сказала она, – кто-то ведь должен заниматься финансами. К вашему сведению, мы прогораем и вот-вот прогорим. Землю и пансион придется заложить, а еще лучше – продать!

«Продать, уехать и Фирса забыть», – подумала Саша, вспомнив пьесу из маминой книги, но промолчала. Они с мачехой редко отвечали друг другу вслух.

Вернувшись через две недели, Хедда стала улыбаться самой себе в зеркале и выходить в спальню каждый раз, когда звонит телефон. Саша забеспокоилась, несколько раз она подходила к двери мачехиной спальни, когда та говорила по телефону, но слышала только обрывки слов: зима, дома, я сама.

За день до сочельника в доме появился человек с глянцевыми прямыми волосами, колкими перстнями на длинных пальцах и отрывистым именем. На самом деле имя у него было длинным, полным спотыкающихся согласных, но Хедда сказала: это мистер Аппас, и все стали звать его мистер Аппас.

Он приехал на стареньком «ровере», с кожаным потертым чемоданом, в котором оказались рождественские подарки для Хедды и девочек – три тонкие шали, которые он почему-то вручил сразу же, прямо у дверей, и Сашу кольнула надежда, что он уедет, не дождавшись Дня подарков.

Саше досталась зеленая пашмина с бахромой, это цвет бессмертия, сказал индийский гость, а Хедда заулыбалась и взяла его за руку. На руки Аппаса Саша не могла смотреть без удивления, особенно когда он сплетал пальцы, выложив обе смугловатые кисти на белую скатерть. Ей казалось, что его пальцы на сустав длиннее, чем надо, а перстни выглядели бутафорскими, полыми, точно такие Саша видела в лондонской лавке на Портобелло, их там была целая груда по полтора фунта штука.

Приехав, мистер Аппас расположился в одной из гостевых комнат наверху и первым делом принес Саше четыре потерянные банкноты.

– Надеюсь, горячий завтрак входит в стоимость? – спросил он, положив деньги на конторку. – И еще, будьте добры, поменяйте мне полотенца. Они слишком долго пролежали в ванной и пропитались сыростью. Вам следовало бы лучше топить!

– Он будет учить меня? – спросила Саша мачеху, когда та вернулась из сада с охапкой голубоватой осоки. – Он вообще-то кто?

– Мистер Аппас – мой хороший знакомый, – сказала Хедда, остановившись в дверях и глядя на Сашу посветлевшими от обиды глазами, – у него в Свонси живет сестра, она держит приличный ресторан.

– Знаю, – сказала Саша, – однажды я ела там манго ласси с йогуртом. И тебя там видела. Так себе был манго ласси.

Хедда подняла брови и открыла рот, но говорить передумала. Она прошла в кладовку и, вернувшись оттуда с глиняной вазой, протянула ее Саше:

– Осоку поставь у него в комнате. Замени полотенца. И имей в виду – у мистера Аппаса в Кумаракоме свой круизный корабль, он не хуже тебя знает толк в гостиничном деле.

Наутро, выйдя к завтраку, индеец разложил на столе целую пачку ярких фотографий: озеро Вембанад, белые цапли и плавучие домики. Они называются *кутуваламы*, произнес он несколько раз, и Младшая радостно повторила за ним: кутуваламы.

Горячий завтрак гостю не понравился, он намазал тост земляничным джемом и жевал его долго и аккуратно, промокая темно-красный рот салфеткой.

– Тот, кто наращивает свое мясо, поедая плоть других созданий, обрекает себя на страдания, в каком бы теле он ни родился, – сказал он, когда Хедда осторожно спросила, чем ему не угодил омлет с беконом. – Однако у вас прекрасный кофе, я, пожалуй, выпил бы еще чашечку.

Саша сидела напротив него, разглядывая суховатое маленькое лицо – того оттенка, который появляется на изнанке листьев, когда растению не хватает железа, – и пыталась представить губы мачехи, ищущие на этом лице подходящее для поцелуя местечко. Почувствовав ее взгляд, Аппас понимающе покачал головой и спросил:

– Сегодня прохладно, но вы не стали надевать свою новую

шаль, дорогая Аликс, следует ли заключить, что она вам не к лицу?

– Я тут почитала о зеленом цвете в маминой книге, – сказала Саша, глядя ему прямо в угольные зрачки, – там говорится, что зеленый – это цвет банкротства. Также там упоминался зеленый флаг – символ кораблекрушения. Более того, зеленым египтяне раскрашивали мертвого Осириса. Не говоря уже о цвете плесени.

Мистер Аппас отбыл в своей дребезжащей машинке утром двадцать пятого, после того как Саша подала на ужин свиной рулет и стейки с зеленым горошком, не обратив внимания на гору вегетарианских запасов, предусмотрительно сделанных Хеддой.

Увидев Сашины приготовления, Младшая побежала звонить матери, но было уже поздно – запахи пригорелого мяса расплзались по «Кленам», мешаясь с запахами мандариновой кожуры и еловых веток. Мистер Аппас тихо спустился вниз, накинул гостевую брезентовую куртку и, пробормотав что-то о приятной прохладе, торопливо направился в сторону моря.

Хедда приехала в пять, сбросила мокрое шерстяное пальто и взлетела по лестнице в свою комнату. Позже – наткнувшись на Сашу в прихожей – она молча и сильно ткнула ее кулаком в ключицу. В восемь они встретились за столом, где Аппас ковырял ложкой рисовый пудинг и рассказывал о своих планах на будущий год, хмуро косясь на Сашу вы-

пуклым глазом, слезящимся в раскаленном от свечей воздухе гостиной. Утром мачеха вышла его проводить и долго стояла перед окошком водителя, положив руки на опущенное стекло, как будто не позволяя его поднять.

В январе и феврале постояльцев было мало, шли дожди. Саша и Хедда почти не разговаривали. Две комнаты наверху пришлось закрыть, чтобы не расходовать уголь.

Третьего марта Хедда уехала, оставив короткое письмо.

Луэллин

сестра мисс сонли пропала несколько лет назад, в саду могильная плита, и ссора была из-за мужчины? переспросил я, понимая, чего от меня ждут, и поднял два пальца, подзывая патрика, – а что же честные соседи, неужели никто и ухом не ведет?

в том, что касается чужой жизни или смерти, местные жители – самые спокойные люди на юге острова, весело ответил суконщик, у них своих забот хватает, знай себе хоронят и женятся, хоронят и женятся!

не тебе об этом судить, как не тебе судить о саше сонли, встрепенулся плотник, ты ведь даже не из пембрукшира, дружок, мы вообще не знаем, откуда ты! зато мы знаем, что кошка объела тебе уши и нос!

держу пари, в этой истории всему есть простое объяснение, бодро сказал я, сделав большой глоток из принесенной

патриком рюмки, надо поговорить с соседями и хорошенько обыскать сад, мертвая сестра не иголка, я бы за день справился

пари так пари! суконщик поставил ладонь ребром на залитую пивом столешницу, но учти – это тебе не битву лапифов с кентаврами разбирать, сидя в кожаном кресле в бреконском колледже, ты всегда был слабоват в делах такого рода, лу, в настоящих мужских делах

не связывайся с ним! плотник тяжело помотал головой, неприлично заключать пари на женщину, да к тому же на бедную сироту, я ведь ее без гроша оставил

ставлю золотые часы с календарем! я стукнул рюмкой по столу, знаю я твои часы, усмехнулся суконщик, я сам их купил, когда тебя еще звали луэллин стоунбери, давай лучше на желание, тем более что мое желание тебе известно – проиграешь и сядешь на паром, а то никто мне даже ромашки паршивой не принес!

извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, нараспев произнес плотник, поднявшись со стула, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, открывааай вторую, стоунбери, и оставь мальчишку в покоооо!

ох, как же я соскучился по этим протяжным гласным и согласным, вибрирующим, будто папиросная бумага на гребенке, два года назад мне пришлось привыкать к ним заново – радостно и быстро, так, вернувшись из пустыни, привыкают к чистой воде, как угодно долго льющейся из крана в ванной

два года назад я снова стал приезжать в уэльс, а ведь думал, что никогда не приеду: я сменил имя и адрес, свернулся водяной улиткой и передвигался вниз головой, осторожно нащупывая дорогу на поверхности пруда

мне приходилось не думать сразу о двух точках необратимости, а это нелегкий труд – *не думать* о чем-нибудь, это все равно что пытаться не трогать заболевший зуб языком – одна точка неумолимо мигала со дня смерти отца, а другая вспыхнула в две тысячи восьмом, вспыхнула и вернула меня на кушетку доктора майера, узкую, как ложе мариин на картине россетти

* * *

заметано, сказал я, поднимаясь со стула, разберусь с этой историей, как только появится пара свободных дней, а теперь мне нужно выспаться – лондонский автобус уходит в половине шестого утра

проигрыша я не боялся – я достаточно знаю о ведьмах, я даже знаю, что если подглядывать за ведьмой во сне, то можно увидеть, как оса влетает и вылетает из ее обмякшего тела, я целую книгу прочел о джулии, ведьме из брандона, которую гервард воскрешенный нанял для того, чтобы *заклясть* норманнов во время очередной дурацкой войны, а потом норманны подожгли ее дом и ее саму в этом доме, полном медных шаров с отварами и птичьих чучел

я оставил на столе горстку мелочи, взял со стула сумку и отправился наверх, в знакомую комнату над пабом, поднимаясь по лестнице, я думал о незнакомой мне ведьме александре, чей дом подожгли посреди цивилизованного острова, который правит волнами чортову уйму цивилизованных лет

люди не меняются, сказала бы моя мать, меняется только погода и королевские почести! это, пожалуй, все, что я запомнил из слышанного от матери, – нет, не все: она называла меня *лорд беспорядка*, и я обижался, хотя знал, что в старину так именовали распорядителя на замковом балу, чья беспокойная свита была увешана колокольчиками и старательно ими гремела

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.